

ИВАН ТУРГЕНЕВ

НАХЛЕБНИК

T8 RUGRAM

УДК 82-31
ББК 83.3(2Рос=Рус)
Т87

Тургенев, И.С.

Т87 Нахлебник / И.С. Тургенев. — М. : Т8 Издательские технологии / RUGRAM, 2019. — 186 с. — (RUGRAM-КЛАССИКА).

ISBN 978-5-519-72535-4

В нашем новом проекте вы найдете как книги из «золотого фонда» классической русской литературы, так и редкие, почти забытые, произведения авторов, оставшихся в тени своих великих современников. Эти книги не утратили самобытной актуальности, сегодня, как и сто лет назад, они определяют пути русской культуры, ищут ответы на «проклятые вопросы».

Без этих книг невозможно понять кто мы, кем мы были, куда движемся. Мы отобрали для вас самые важные тексты русских классиков, представили их в наиболее полных редакциях, без каких либо сокращений и цензурных изъятий, и составили серию RUGRAM-КЛАССИКА.

Вашему вниманию представляется книга Ивана Сергеевича Тургенева «Нахлебник».

УДК 82-31
ББК 83.3(2Рос=Рус)
BIC FC
BISAC FIC000000

ISBN 978-5-519-72535-4

© Т8 RUGRAM, оформление, 2019
© Т8 Издательские технологии, 2019

СОДЕРЖАНИЕ

ДНЕВНИК ЛИШНЕГО ЧЕЛОВЕКА	5
Сельцо Овечьи Воды, 20 марта 18... года.....	5
21 марта	7
22 марта	12
23 марта	13
24 марта. Трескучий мороз	18
25 марта. Белый зимний день	27
26 марта. Оттепель	32
27 марта. Оттепель продолжается	40
29 марта. Легкий мороз; вчера была оттепель	55
30 марта. Мороз	59
31 марта	67
1 апреля	69
ЗАВТРАК У ПРЕДВОДИТЕЛЯ	71
Действующие лица	71
Явление первое	72
Явление второе	73
Явление третье	75
Явление четвертое	77
Явление пятое	79
Явление шестое	81
Явление седьмое	84

СОДЕРЖАНИЕ

Явление восьмое	85
Явление девятое	89
Явление десятое	98
Явление одиннадцатое	106
НАХЛЕБНИК	109
Действующие лица	109
Действие первое	111
Действие второе	151

ДНЕВНИК ЛИШНЕГО ЧЕЛОВЕКА

Сельцо Овечьи Воды, 20 марта 18... года

Доктор сейчас уехал от меня. Наконец добился я толку! Как он ни хитрил, а не мог не высказаться наконец. Да, я скоро, очень скоро умру. Реки вскроются, и я с последним снегом, вероятно, уплыву... куда? бог весть! Тоже в море. Ну, что ж! коли умирать, так умирать весной. Но не смешно ли начинать свой дневник, может быть, за две недели до смерти? Что за беда? И чем четырнадцать дней менее четырнадцати лет, четырнадцати столетий? Перед вечностью, говорят, всё пустяки — да; но в таком случае и сама вечность — пустяки. Я, кажется, вдаюсь в умозрение: это плохой знак — уж не трушу ли я? Лучше стану рассказывать что-нибудь. На дворе сыро, ветрено, — выходить мне запрещено. Что же рассказывать? О своих болезнях порядочный человек не говорит; повесть, что ли, сочинить — не мое дело; рассуждения о предметах возвышенных — мне не под силу; описания окружающего меня быта — даже меня занять не могут; а ничего не делать — скучно; читать — лень. Э! расскажу-ка я самому себе всю свою жизнь. Превосходная мысль! Перед смертью оно и прилично и никому не обидно. Начинаю.

Родился я лет тридцать тому назад от довольно богатых помещиков. Отец мой был страстный игрок; мать моя была

дама с характером... очень добродетельная дама. Только я не знал женщины, которой бы добродетель доставила меньше удовольствия. Она падала под бременем своих достоинств и мучила всех, начиная с самой себя. В течение пятидесяти лет своей жизни она ни разу не отдохнула, не сложила рук; она вечно копошилась и возилась, как муравей, — и без всякой пользы, чего нельзя сказать о муравье. Неугомонный червь ее точил днем и ночью. Один только раз видел я ее совершенно спокойной, а именно: в первый день после ее смерти, в гробу. Глядя на нее, мне, право, показалось, что ее лицо выражало тихое изумление; с полураскрытых губ, с опавших щек и кротко-неподвижных глаз словно веяло словами: «Как хорошо не шевелиться!» Да, хорошо, хорошо отделаться наконец от томящего сознания жизни, от неотвязного и беспокойного чувства существования! Но дело не в том.

Рос я дурно и невесело. Отец и мать оба меня любили, но от этого мне не было легче. Отец не имел в собственном доме никакой власти и никакого значения как человек, явно преданный постыдному и разорительному пороку; он сознавал свое падение и, не имея силы отстать от любимой страсти, старался по крайней мере своим постоянно ласковым и скромным видом, своим уклончивым смирением заслужить снисхождение своей примерной жены. Мамонька моя действительно переносила свое несчастье с тем великолепным и пышным долготерпением добродетели, в котором так много самолюбивой гордости. Она никогда ни в чем отца моего не упрекала, молча отдавала ему свои последние деньги и платила его долги; он превозносил ее в глаза и заочно, но дома сидеть не любил и ласкал меня

украдкой, как бы сам боясь заразить меня своим присутствием. Но искаженные черты его дышали тогда такой добротой, лихорадочная усмешка на его губах сменялась такой трогательной улыбкой, окруженные тонкими морщинами карие глаза светились такою любовью, что я невольно прижимался моей щекой к его щеке, сырой и теплой от слез. Я утирал моим платком эти слезы, и они снова текли, без усилия, словно вода из переполненного стакана. Я принимался плакать сам, и он утешал меня, гладил меня рукой по спине, целовал меня по всему лицу своими дрожащими губами. Даже вот и теперь, с лишком двадцать лет после его смерти, когда я вспоминаю о бедном моем отце, немые рыдания подступают мне под горло и сердце бьется, бьется так горячо и горько, томится таким тоскливым сожалением, как будто ему еще долго осталось биться и есть о чем сожалеть!

Мать моя, напротив, обращалась со мной всегда одинаково, ласково, но холодно. В детских книгах часто встречаются такие матери, нравоучительные и справедливые. Она меня любила; но я ее не любил. Да! я чуждался моей добродетельной матери и страстно любил моего порочного отца.

Но для сегодняшнего дня довольно. Начало есть, а уж о конце, какой бы он ни был, мне нечего заботиться. Это дело моей болезни.

21 марта

Сегодня удивительная погода. Тепло, ясно; солнце весело играет на талом снеге; все блестит, дымится, каплет; воробы, как сумасшедшие, кричат около отпотевших тем-

ных заборов; влажный воздух сладко и страшно раздражает мне грудь. Весна, весна идет! Я сижу под окном и гляжу через речку в поле. О природа! природа! Я так тебя люблю, а из твоих недр вышел неспособным даже к жизни. Вон прыгает самец воробей с растопыренными крыльями; он кричит — и каждый звук его голоса, каждое взъерошенное перышко на его маленьком теле дышит здоровьем и силой...

Что ж из этого следует? Ничего. Он здоров и имеет право кричать и ерошиться; а я болен и должен умереть — вот и все. Больше об этом говорить не стоит. А слезливые обращения к природе уморительно смешны. Возвратимся к рассказу.

Рос я, как уже сказано, очень дурно и невесело. Братьев и сестер у меня не было. Воспитывался я дома. Да и чем бы стала заниматься моя матушка, если б меня отдали в пансион или в казенное заведение? На то и дети, чтоб родители не скучали. Жили мы большей частью в деревне, иногда приезжали в Москву. Были у меня гувернеры и учителя, как водится; особенно памятным остался мне один худосочный и слезливый немец, Рикман, необыкновенно печальное и судьбою пришибенное существо, бесплодно сгоравшее томительной тоской по далекой родине. Бывало, возле печки, в страшной духоте тесной передней, насквозь пропитанной кислым запахом старого кваса, сидит небритый мой дядька Василий, по прозвищу Гусыня, в вековечном своем казакине из синей дерюги, — сидит и играет в свои козыри с кучером Потапом, только что обновившим белый, как кипень, овчинный тулуп и несокрушимые смазные сапоги, — а Рикман за перегородкой поет:

*Herz, mein Herz, warum so traurig?
Was bekümmert dich so sehr?
S'ist ja schön im fremden Lande —
Herz, mein Herz, — was willst du mehr?*¹

После смерти отца мы окончательно перебрались на житье в Москву. Мне было тогда двенадцать лет. Отец мой умер ночью, от удара. Не забуду я этой ночи. Я спал крепко, как обыкновенно спят все дети; но, помню, мне даже сквозь сон чудилось тяжелое и мерное храпенье. Вдруг я чувствую: кто-то меня берет за плечо и толкает. Открываю глаза: передо мной дядька. «Что такое?..» — «Ступайте, ступайте, Алексей Михайлыч кончается...» Я, как сумасшедший, из постели вон — в спальню. Гляжу: отец лежит с закинутой назад головой, весь красный, и мучительно хрипит. В дверях толпятся люди с перепуганными лицами; в передней кто-то сильным голосом спрашивает: «Послали за доктором?» На дворе лошадь выводят из конюшни, ворота скрипят, сальная свечка горит в комнате на полу; маменька тут же убивается, не теряя, впрочем, ни приличия, ни сознания собственного достоинства. Я бросился на грудь отцу, обнял его, залепетал: «Папаша, папаша...» Он лежал неподвижно и как-то странно шурился. Я взглянул ему в лицо — невыносимый ужас захватил мне дыхание; я запищал от страха, как грубо схваченная птичка, — меня стащили и отвели. Еще накануне он, словно предчувствуя свою близкую смерть, так горячо и так уныло ласкал меня.

¹ Сердце, сердце мое, почему ты так печально? Что тебя так огорчает? Ведь в чужой стране прекрасно. Сердце, сердце мое, чего же ты еще хочешь? (нем.)

Привезли какого-то заспанного и шершавого доктора, с крепким запахом зорной водки. Отец мой умер у него под ланцетом, и на другой же день я, совершенно поглупевший от горя, стоял со свечкою в руках перед столом, на котором лежал покойник, и бессмысленно слушал густой напев дьячка, изредка прерываемый слабым голосом священника; слезы то и дело струились у меня по щекам, по губам, по воротничку, по манишке; я исходил слезами, я глядел неотступно, я внимательно глядел на неподвижное лицо отца, словно ждал от него чего-то; а матушка моя между тем медленно клала земные поклоны, медленно подымалась и, крестясь, сильно прижимала пальцы ко лбу, к плечам и животу. Ни одной мысли у меня не было в голове; я весь отяжелел, но чувствовал, что со мною совершается что-то страшное... Смерть мне тогда заглянула в лицо и заметила меня.

Мы переехали в Москву на житье после смерти отца по весьма простой причине: все наше имение было продано с молотка за долги — так-таки решительно все, исключая одной деревушки, той самой, в которой я теперь вот доживаю свое великолепное существование. Я, признаюсь, даром что был тогда молод, а погрузил о продаже нашего гнезда; то есть по-настоящему я грустил только об одном нашем саде. С этим садом связаны почти единственные мои светлые воспоминания; там я в один тихий весенний вечер похоронил лучшего своего друга, старую собаку с куцым хвостом и кривыми лапками — Триксу; там, бывало, спрятавшись в высокую траву, я ел краденые яблоки, красные, сладкие новгородчины; там наконец я в первый раз увидал между кустами спелой малины горничную Клав-